

Издательство
АСТ

В. Г. РАСПУТИН

ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ

Москва
Издательство АСТ
2024

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р24

Серийное оформление и дизайн обложки *А. Фереза*

Иллюстрация на обложке *И. Савченкова*

Распутин, Валентин Григорьевич.

Р24 Прощание с Матёрой / В. Г. Распутин. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 224 с. — (Школьное чтение).

ISBN 978-5-17-163738-5 (Школьное чтение)

ISBN 978-5-17-163736-1 (Классика для школьников)

Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) – русский писатель-реалист, публицист, общественный деятель.

Повесть «Прощание с Матёрой» (1976 г.) посвящена проблеме затопления территорий в Сибири. Деревне Матёра суждено уйти под воду в результате строительства ГЭС на реке Ангара. Практически все жители переезжают в соседний посёлок, где их ждут «городские квартиры», и лишь несколько стариков отказываются расстаться с родными местами.

Смысл названия повести символичен: итальянское слово «*materra*» переводится как «моя земля». Матёра имеет общий корень с русскими словами «мать», «матёрый» (опытный). Главная героиня повести Дарья является носительницей многовековых традиций и человеческого опыта. Она не может оставить землю, на которой веками жили и были похоронены её предки. Автор предлагает нетипичный для советской эпохи взгляд на индустриализацию: строительство гидроэлектростанции воспринимается не как победа, а как непоправимое человеческое горе. Смогут ли жители отстоять свою малую родину?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-163738-5

(Школьное чтение)

ISBN 978-5-17-163736-1

(Классика для школьников)

© Распутин В.Г., насл., 2024

© Савченков И.Ю., ил. на обл., 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

1

И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матёры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденно открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу бойко зашумела вода, скатываясь по релке на две стороны; опять запылала по земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все это бывало много раз, и много раз Матёра была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили огороды — да не все: три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы, когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда, посеяли хлеба — да не на всех полях: за рекой пашню не трогали, а только здесь, на острове, где поближе. И картошку, моркошку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как пришлось, кто когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми добрых пятнадцать километров водой и горой, и разрывались пополам. Та Матёра и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голоса петухи, режут коровы, трезвонят собаки, а уж появля деревня, видно, что появля, как подрубленное дерево, отко-

ренилась, сошла с привычного хода. Всё на месте, да не всё так: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в опустевших избах, и растворились ворота во дворы — их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, чтоб сильнее сквозило, скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похилились стайки, амбары, навесы, без пользы валялись жерди и доски — поправляющая, подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним. Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться. А постоянно оставались теперь в Матёре только старики и старухи, они смотрели за огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они сходились вместе, негромко разговаривали — и все об одном, о том, что будет, часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за Ангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные.

Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст, и не узенькой лентой, а утюгом, — было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матёре близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой. Подмогой — понятно: чего не хватало на своей земле, брали здесь, а почему Поднога — ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку, известно,

чем чудней, тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко — Богодул, так прозвали приبلудшего из чужих краев старика, выговаривая слово это на хохлацкий манер — как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище.

Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах: «Богохул», а деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в Богодула. Так или не так было, в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается.

Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог; подворачивали к ней на ночевку торговые люди, снующие в ту и другую сторону; везли по воде арестантов и, завидев прямо по носу обжитой берег, тоже подгребали к нему, разжигали костры, варили уху из выловленной тут же рыбы; два полных дня грохотал здесь бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами, которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в Матёре срубленный ими на верхнем краю у голомыски барак, в котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан, Богодул. Знала деревня наводнения, когда пол-острова уходило под воду, а над Подмогой — она была положе и ровней — и вовсе крутило жуткие воронки, знала пожары, голод, разбой.

Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо видная издали с той и другой протоки; церквушку эту в колхозную пору приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще раньше, но крест на возглавии оставался, и старухи по утрам слали ему поклоны. Потом и крест сбили. Была мельница

на верхней носовой проточке, специально будто для нее и прорытой, с помолком хоть и некорыстным, да незаемным, на свой хлебешко хватало. В последние годы дважды на неделе садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район народ приучился летать по воздуху.

Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит многие земли, и в том числе в первую очередь, конечно, Матёру. Если даже поставить друг на дружку пять таких островов, все равно затопит с макушкой, и места потом не показать, где там селились люди. Придется переезжать. Непросто было поверить, что так оно и будет на самом деле, что край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в судьбе Матёры не приходилось, она дотягивала последние годы. Где-то на правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже неближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламом, пустить под огонь.

Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода.

Старухи втроем сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлебывая из блюда, то опять как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух; лет своих в точности никто из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли — концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так:

— Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. — Это Дарья Настасье. — Я уж в памяти находилась, помню.

— Ты, однако, и будешь-то года на три меня постаре.

— Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была — оглянись-ка! Ты ишо без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить.

— Я помню.

— Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая.

Третья старуха, Сима, не могла участвовать в столь давних воспоминаниях, она была пришлой, занесенной в Матёру случайным ветром меньше десяти лет назад, — в Матёру из Подволочной, из ангарской же деревни, а туда — откуда-то из-под Тулы, и говорила, что два раза, до войны и в войну, видела Москву, к чему в деревне, по извечной привычке не очень-то доверять тому, что нельзя проверить, относились со смешком. Как это Сима, какая-то непутевая старуха, могла видеть Москву, если никто из них не видел? Ну и что, если рядом жила? В Москву, поди, всех подряд не пускают. Сима, не злась, не настаивая, умолкала, а после опять говорила то же самое, за что схлопотала прозвище Московишна. Оно ей, кстати, шло: Сима была вся чистенькая, аккуратная, знала немного грамоте и имела песенник, из которого порой под настроение

тянула тоскливые и протяжные песни о горькой судьбе. Судьба ей, похоже, и верно досталась несладкая, если столько пришлось мытариться, оставить в войну родину, где выросла, родить единственную, и ту немую, девчонку и теперь на старости лет остаться с малолетним внучонком на руках, которого неизвестно когда и как поднимать. Но Сима и сейчас не потеряла надежды сыскать старика, возле которого она могла бы греться и за которым могла бы ходить — стирать, варить, подавать. Именно по этой причине она и попала в свое время в Матёру: услышав, что дед Максим остался бобылем, и выждав для приличия срок, она снялась из Подволочной, где тогда жила, и отправилась за счастьем на остров. Но счастье не вылепилось: дед Максим заупрямился, а бабы, не знавшие Симу как следует, не помогли: дед хоть никому и не надобен, да свой дед, под чужой бок подкладывать обидно. Скорей всего деда Максима напугала Валька, немая Симиная девка, в ту пору уже большенькая, как-то особенно неприятно и крикливо мычавшая, чего-то постоянно требующая, нервная. По поводу неудавшегося сватовства в деревне зубоскалили: «Хоть и Сима, да мимо», но Сима не обижалась. Обратившись в Подволочную она не поплыла, так и осталась в Матёре, поселившись в маленькой заброшенной избушке на нижнем краю. Развела огородашко, поставила кросна и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола — тем и пробавлялась. А Валька, пока она жила с матерью, ходила в колхоз.

Сейчас возле Симы терся Колька, внучонок на пятом году, Валькина находка. Мальчишка был не в мать, не немой, но говорил плохо и мало, рос диким, боязливым, не отходящим от бабкиной юбки, — не ребенок, а бабенок. Старухи жалели его, приласкивали — он сильнее жался к Симе и смотрел на них с каким-то недетским, горьким и кротким пониманием.

— Ты кто такой, чтобы на меня так глядеть? — удивлялась Дарья. — Че ты там за мной видишь —

смерть мою? Я про нее без тебя знаю. Ишь устался, немтырь, как гвоздь.

— Он не немтырь, — обижалась Сима, прижимая к себе Кольку.

— Не немтырь, а молчит.

Снова опустили разговор, разморенные чаем и бьющим из окна, что выходило на закат, ярким клонящимся солнцем. Старуха Дарья, высокая и поджарая, на голову выше сидящей рядом Симы, чему-то согласно кивала, уставив в стол строгое бескровное лицо с провалившимися щеками.

Несмотря на годы, была старуха Дарья пока на своих ногах, владела руками, справляя посильную и все-таки немаленькую работу по хозяйству. Теперь вот сын с невесткой на новоселье, наезжают раз в неделю, а то и реже, и весь двор, весь огород на ней, а во дворе корова, телка, бычок с зимнего отела, поросенок, курицы, собака. Наказано было, правда, старухе, когда не сможет или занеможет, обращаться за помощью к соседке Вере, но до этого еще не дошло, Дарья справлялась сама.

Только что заступил июнь, подряд гуляли ясные, солнечные дни, едва прерываемые короткими сумеречными ночами.

Жары на острове, посреди воды, не бывает; по вечерам, когда затихал ветерок и от нагретой земли исходило теплое парение, такая наступала кругом благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень, еще более приподнявшая, возвысившая над водой остров, с таким чистым, веселым перезвоном на камнях катилась Ангара и так все казалось прочным, вечным, что ни во что не верилось — ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание. А тут еще дружные всходы на полях и в огородах, вовремя упавшие дожди и вовремя же наступившее тепло, это редкое согласие, сулящее урожай; неторопливое, желанное нарастание лета...

— Утром подымусь, вспомню со сна... ой, сердце упрется, не ходит, — рассказывала старуха Настасья. — Господи!.. А Егор пла-а-чет, плачет. Я ему говорю: «Ты не плачь, Егор, не надо», а он: «Как мне не плакать, Настасья, как мне не плакать?!» Так и иду с каменным сердцем ходить, убираться. Хожу, хожу, вижу, Дарья ходит, Вера ходит, Домнида — и вроде отпустит маленько, привыкну. Думаю: а может, попужать нас только хочут, а ниче не сделают.

— Че нас без пути пужать? — спрашивала Дарья.

— А чтоб непужаных не было.

После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не пришли с войны, третий утонул, провалившись с трактором под лед, дочь умерла в городе от рака), начала Настасья малость чудить, наговаривать на своего старика, и все жалобное, болезненное: то будто угорел до смерти, едва отводилась, то всю ночь криком кричал, потому что кто-то изнутри душил его, то плачет, «вторые дни пошли, плачет, слезьми умывается», хотя знали все, дед Егор не вдруг пустит слезу. Поначалу он стыдил ее, стращал, пробовал учить — ничего не помогало, и он отступился. Во всем другом нормальный, здоровый человек, а тут как резьба какая свернулась и хлябает, проворачивается, проговаривается о том, чего не было и не могло быть. Добрые люди старались не замечать этой безобидной Настасьиной свихнутости, недобрые любили спрашивать:

— Как там сегодня Егор — живой, нет?

— Ой! — радостно спохватывалась Настасья. — Егор-то, Егор-то... едва нонче не помер. У старого ума нету, взял сколупнул бородавку и весь кровью изошел. Цельный таз кровушки.

— А теперь-то как — остановилась?

— Вся вышла, дак остановилась. Едва дышит. Ой, до того жалко старика. Побегу досмотрю, че с им.

А Егор в это время ковылял по другой стороне улицы и зло и беспомощно косил на Настасью глазом:

опять, блажная, типун ей на язык, рассказывает про него сказки.

Им предстояло самое скорое, раньше других, прощание с Матёрой. Когда дело дошло до распределения, кому куда переезжать, дед Егор со зла или от растерянности подписался на город, на тот самый, где строилась ГЭС. Там для таких же, как они, одиноких и горемычных из зоны затопления, ставились специально два больших дома. Условия были обменные: они не получают ни копейки за свою избу, зато им дают городскую квартиру. Позже дед Егор, не без подталкивания и нытья Настасьи, одумался и хотел переиграть город на совхоз, где и квартиру тоже дают, и деньги выплачивают, но оказалось, что поздно, нельзя.

— Совхоз выделяет квартиры для работников, а ты какой работник, — вразумлял его председатель сельсовета Воронцов.

— Я всю жисть колхозу ондал.

— Колхоз — другое дело. Колхоза больше нет.

Из района уже дважды поторапливали Егора переезжать, отведенная для них с Настасьей квартира была готова, ждала их, но старики все тянули, не трогались, как перед смертью стараясь надышаться родным воздухом. Настасья посадила огород, заводила то одно, то другое дело — лишь бы отсрочить, обмануть себя. В последний раз человек из района не на шутку накричал на них, страдая, что квартиру займут и они останутся на бобах, и дед Егор решил: если уж все равно ехать, то ехать... И отрезал Настасье:

— Чтоб к Троице была в готовности.

А до Троицы оставалось всего-то две недели.

— Зато никакой тебе заботушки, — не то успокаивая, не то насмехаясь, говорила Настасья Дарья. — Я у дочери в городе-то гостевала — дивля: тут тебе, с места не сходя, и Ангара, и лес, и уборна-баня, хошь год на улицу не показывайся. Крант, так же от как

у самовара, повернешь — вода бежит, в одном кранту холодная, в другом горячая. И в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом, нажмешь — жар идет. Вари, парь. Прямо куда тебе с добром! — баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испеки, нет, хлебушко покупной. Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих — они надо мной смеются, что мне чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в одном закутке, возле кухоньки. Это уж тоже не дело. Сядешь, как приспичит, и держишь, мучишься, чтоб за столом не услышали. И баня... какая там баня, смехота одна, ребятенка грудного споласкивать. А оне ишо че-то булькаются, мокрые вылазят. От и будешь ты, Настасья, как барыня, полеживать, все на дому, все есть, руки подымать не надо. А ишо этот... телехон займей. Он тебе: дрын-дрын, а ты ему: ле-ле, поговори и опеть на боковую.

— Ой, не трави ты мое сердце! — обмирала Настасья и прижимала к груди дряблые руки, закрывала глаза. — Я там в одну неделю с тоски помру. Посередь чужих-то! Кто ж старое дерево пересаживает?!

— Всех нас, девка, пересаживают, не однуе тебя. Всем тепери туды дорога. Только успевай прибирай.

Настасья, не соглашаясь, качала головой:

— Не равняй меня, Дарья, не равняй. Вы все в одном будете месте, а я на отдельности. Вы, которые с Матёры, друг к дружке соберетесь, и веселей, и будто дома. А я? Ой, да че говорить?!

— Сколько нас, всех-то? — рассудительно отвечала Дарья. — Никого уж не остается. Погляди-ка, Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. Катеринин парень по сю пору места себе не выберет, мечется как угорелый. А когда выбирать, ежели вино не все до капельки выпито. Наталья говорит: может, к дочери поеду на Лену...

— Татьяна, Домнида, Маня, ты, Тунгуска... Околоток хороший наберется. Не мое кукованье.

— От и вся Матёра. Господи!

— А я уж про себя молчу. Молчу-у, молчу, — заунывно подхватила Сима и опять притянула к себе Кольку. — Мы с Коляней сядем в лодку, оттолкнемся и покатым куда глаза глядят, в море-окиян...

У Симы не было своей собственности, не было родственников, и ей оставалась одна дорога — в дом престарелых, но и на этой дороге теперь, как выяснилось, появилось препятствие — Колька, в котором она души не чаяла. С мальчишкой в дом престарелых не очень хотели брать. Валька, немая Симиная дочь, свихнулась и потерялась. Взяв годы и познав мужика, одного, другого, третьего, Валька вошла во вкус и так полюбила это дело, что уже и сама без стеснения напрашивалась на ночные игры. И очень скоро наиграла Кольку. Сима гонялась за Валькой с палкой, матери, жены кляли ее на чем свет стоит, и осатаневшая Валька сбежала, вот уже больше года от нее не было ни слуху ни духу. Симу научили подать в розыск, но при той неразберихе в движении, которая началась теперь на Ангаре, при Валькиной немоте и документальной неоформленности отыскать ее было нелегко.

— Если и найдется, Коляню я ей так и так не отдам, — говорила Сима. — Мы с Коляней хоть поползем, да на одной веревочке.

— Ты пошто его не учишь говорить-то как следует? — попрекала Дарья. — Он вырастет, он тебя не похвалит.

— Я учу. Он может говорить. Коляня у нас молчаливый.

— Пришибло мальчонку. Он все понимает.

— Пришибло.

Не спрашивая у Настасьи, Дарья взяла ее стакан, плеснула в него из заварника и подставила под самовар — большой, купеческий, старой работы, красно отливающий чистой медью, с затейливым решетчатым низом, в котором взблескивали угли, на красиво